

Н. С.
ЛЕСКОВ

Избранное



Николай Семёнович Лесков
Заметки Н. Лескова (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175609

Содержание

| | |
|---|----|
| Заметки неизвестного | 4 |
| Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства | 4 |
| Заметки неизвестного | 7 |
| Излишняя материнская нежность | 8 |
| Искусный ответчик | 20 |
| Как нехорошо осуждать слабости | 22 |
| Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений | 26 |
| О безумии одного князя | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 36 |

Заметки Н. Лескова

Заметки неизвестного

Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства

Жандармская полковница, еще не старых лет, но очень набожная, любила пространно исповедаться и столь была заботлива о своей душе, что всегда в каждый из четырех постов в году говела и каялась на духу отцу Иоанну, о котором писано, как он подвергся слабости и пострадал от случая с разбудившим его канареечным пением. Этот добрый священник все мог переносить, но от полковницы бывал столь утомлен, что, головою крутя, говорил:

– Ну уж бог с ней – такая она паче ума и естества многословная.

Когда же отец Иоанн отошел в лучшую жизнь, полковница целый год была в нерешении: кого из духовенства почесть избранием себе в отцы, и для того у многих испытывала по разу говеть и так дошла до отца Павла, о котором тоже преподано в истории с ассессорским сыном. – Отец Павел всегда был нетерпелив, но в пост от картофельной пищи и свеклы с

огурцами часто был еще хуже и тогда исповедовал с раздражением и колко, а та любила все говорить мелко и по инстинктивной привычке все часто восклицала: «ах». Что ее ни спросить или о чем сама рассказывать захочет, все с того своего любимого слева начинает: «ах». Например: «Ах, я ужасная грешница», или «ах, как я несчастна», и тому подобное – что весьма надокучало.

Отец же Павел, видя, что она к нему подошла и поклонилась, прежде всего спросил: зачем она себе одного духовника не изберет и всех переменяет? А она отвечает:

– Ах, я такая несчастная... у меня ужасные нервы, и я не могу привыкнуть...

Отец Павел говорит:

– Это и понятно, если постоянно переменять будете, то никогда не привыкнете.

А она опять:

– Ах, я не могу!

– Почему?

– Ах, это так трудно.

– Трудно потому, что вы все ахаете, а вы не ахайте, а сделайте просто без «аха».

– Ах, не могу, я очень чувствительна. Ах!

– Ну вот опять «ах»!

– Ах, – да я не могу.

– Попробуйте.

– Ах, я уже один раз попробовала и мне было так... ах, ах!

Отец Павел и перебил.

– Один раз, – говорит, – ничего. Один раз ахнуть можно, но постоянно это повторять не для чего.

Полковница гневно его покинула и, явясь ко владыке, принесла на отца Павла жалобу с плачем за ее оскорбление.

Владыка против слез сам подал ей воды, а в чем со стороны отца Павла сделана обида, «того, – говорит, – я не понимаю».

А полковница говорит:

– Ах, боже мой, но я понимаю.

– Так вы скажите.

– Ах, я не могу об этом говорить.

– То как же быть?

– Ах, мне пришла мысль.

– Если ваша мысль хорошая – то исполните ее, а если дурная – оставьте.

– Ах, совсем не дурная! Я вам напишу на листке, что́ я из слов его заключаю, а вы в другой комнате прочитайте.

И получив на то дозволение, написала свое понимание по-французски, а он возвратил ей листок с надписью: «Не понимаю».

Когда все это стало публике известно, то все тоже не понимали, чего не понял владыка: французского ли диалекта или того, что на нем выражено. И из-за этого много произошло, о чем полковница обижалась мужу, но для отца Павла это прошло без больших последствий.

Заметки неизвестного

В последнюю мою побывку в Москве знакомый букинист от Сухаревой башни доставил мне на просмотр несколько старых рукописей, в числе коих находилась и та, которую я нынче представляю вниманию читателей. Она была в старинном корешке, с оклеенными синею бумагою полями и не имела ни подписи, ни заглавия, также лишена была многих страниц с начала и в конце. Но, однако, и то, что в ней уцелело, на мой взгляд представляет немалый интерес как безыскусственное изображение событий, интересовавших в свое время какой-то, по-видимому весьма distinguished, оригинальный и серьезно настроенный общественный кружок.

Засим я предлагаю в подлиннике заметки неизвестного летописца в том порядке и под теми же самыми частными заглавиями, под какими они записаны в полууничтоженной рукописи.

Излишняя материнская нежность

Ассессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растлевается и узнает о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания духовник ее, отец Павел. Этот был роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутив. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чае и закуске, скромность и бережливость ассессорши постоянно похвалил, но не одобрял, что она так Игнашу взаперти, при себе и одних домашних прислужницах, держит, до того, что он ничего мужескому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, – ни к тем, ни к сем не относится.

А Игнаше тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился.

Ассессорша же, во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состоя в браке с ассессором, мно-

гое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел и играл и под органную музыку разные танцевальные па представлял.

Это танцевание асессорше столько в жизни огорчения сделало, и было понятно, что она опасалась, как бы и сын ее по стопам родителя своего не последовал.

Отец же Павел, имея здравое суждение, говорил: «Сударыня, никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то выкинешь». И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевшая асессорша стояла на своем и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собою всегда по саду и по амбарам, дабы минуты один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился.

У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась потому, что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холста и материй, по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как

всему на свете бывает конец, то и бригадиру на семьдесят третьем году его жизни пришел черед умирать, и он в преддверии смерти вспомнил о сестре ассессорше и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желает с нею и с племянником проститься.

Случай же, о возможности которого ассессорше не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницею, были еще многие драгоценности – часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и дареные ему за его храбрость из Кабинета. И ассессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружающих его женских угодниц его свободной жизни, которые к нему приласкались, или же они, в случае если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить и после сказать: «Ничего не было», или: «Он нам подарил».

В таком размышлении она провела всю ночь без сна, с стесненным сердцем, и к утру решила послать к умирающему без себя Игнашу, с проживавшею у нее верною вдовою капральшею, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кон-

чины и как можно прилежней к нему ласкался.

Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаше с капральшею собираться и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить «в путь шествующему» молебен и благословить Игнатия на дорогу.

Отец Павел прибыл на приглашение ассессорши и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться; а когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди.

– Не будь, – говорил, – как дитя: на всякий шаг материного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет, а сам своим умом для себя полезное руководствуй: дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарство по часам лей и в ложке подноси; а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть, и их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет: «Это тебе», – ты сейчас ему руку целуй, а вещь к себе уноси и запирай от слуг и вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар, и опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет: «Бери себе и это». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань,

будто подушки поправить, и прошепчи. Так можешь все получить, даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь.

И, преподав ему нравоучение, Игнашу благословил, и тот с капральшею поехал; но капральшу, выехав за градскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и один поехал. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался: первая, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук не пил, а вторая – мать заметила, что он теперь слабо спит, в постели мечется и во сне губами смокчет. И второй этой причины он матери не открывал, отчего это ему сделалось.

Ассессорша, с которою сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть: отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктанье; но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему что от покойника, или не случилось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить, – и тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, ассессорша и в этом случае призвала его к молебну и потом за закускою открыла, что «вот-де с Игнашею так и так, после езды его в одиночестве к дяде большая перемена: день невесел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит, и в постели

вертится, и губами смокчет»...

– Знаю, – говорила ассессорша, – что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала, да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнания, а потому, так или так, – говорит, – вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом сшила, но возьмите вы Игнашу в свои руки и выведите от него всю истину и помогите.

Отец Павел сказал: «Хорошо!» и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другою рукою взял за руку барчука Игнашу и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишен. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи ягод портят, и от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче – как нравы повреждаются.

– Налетит сверху, не зная откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. Так, может быть, что-нибудь и с тобою сделано?

Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился.

– Точно, – говорит, – отец Павел, было со мною плохое дело, и... может быть... и теперь что-нибудь осталось, и я за грех мой страдаю.

А отец Павел покачал головою и говорит:

– Сделаем-ка вот что: нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробьиных оклевушков – они всего слаще, и подай.

Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонею сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит:

– Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо, а теперь, как мы здесь только двое – ты да я, – и больше никого нет, а над нами бог всемогущий, от него же несть ничто неявлено или утаенно, то будем же мы с тобою как в раю откровенно разговаривать, и ты открой мне как на духу: что такое с тобою встретилось и о чем ты столь сокрушаешься, что даже и мать твою сокрушаешь: ибо она видит, как ты во дни невесел, а ночами беспокойно спишь и губами смокчешь. Я буду в траве сидеть и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет.

Игнаша отвечает:

– Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала.

– Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, а иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства.

– Ну, если так, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою.

– Открывай.

– Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство...

– Ну, что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха.

– Да-с... Вещей я не много получил, а наследства сто душ с усадьбою...

– Ну! Что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою – и это не худо. И тут я никакого греха не вижу; если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был.

– Вам нельзя, – говорит Игнаша, – духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне.

– Ну, это ничего не значит: я бы крестьян в шесть месяцев какому-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нет: но вот я уже скоро все вишни поем, а ты мне еще одни, давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь.

Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей, но бригадир их к себе приближал более, чем своих родственников, и из их рук лекарства принимал и их

одних к себе сидеть близко у постели заставлял, а его отдалял и даже шутил над ним. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, или бабка-галандка, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове – совершенно как будто красивый мальчик. Эта молодая бабка-галандка при больном скучать не любила, а все отбегала в сад и Игнашу с собою туда звала и там заставляла его себя на качелях качать и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. – Когда же бригадир умер и Игнаша домой поехал, то на второй станции ему не дали лошадей потому, что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал и кроме которой другой не было, вошла та же самая бабка-галандка, которая тоже домой ехала и за недачею ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантию и верхнее платье, легла спать на другом диване, в одном белом лифе, и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усиленно сдремал во второй сон очень недолго и опять к ней тихо оборотился, чтобы видеть – спит ли. Но она не спала и, глядев на него, рассмеялась и поцелуй ему губами сделала. Он же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон, но не мог этого сделать, ибо слышал, как она, посмеиваясь, губами вроде поцелуев чмокала до самого утра. А когда утром

он проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было, а он этак же, как она, губами чмокал и доселе с той привычкой остался.

Прослушав такой сказ, отец Павел спросил: не было ли ему все это во сне? Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, стряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал:

– Молодчина ты – похваляю! И в этот раз ты вышел чист и безгрешен. А теперь держи ты этот лист покрепче на голове и походи с ним, погуляй по аллежке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от сего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий.

И, пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к ассессорше и говорит:

– Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел.

Ассессорша перекрестилась и хотела любопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал.

– Я, – говорит, – это Игнатию обещал, да и по службе не могу, потому что открытое нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно и оставаться, разве как перед одним по-

литическим начальством. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам.

Асессорша говорит:

– Сделайте, батюшка, милость. Я вам к Покрову богородицы гарусный пояс цветами вышью.

– Хорошо, – говорит, – только вы слушайте и все точно исполните.

– Слушаю, батюшка, слушаю и непременно исполню.

– Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла...

– Встану, – говорит, – отец Павел, даже до зари встану.

– Да; и возьмите вы с собою новый серп, такой, которым еще никто не жал.

– Есть у меня в кладовой два серпа новые.

– И выйдите вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее и чтобы на ней были плоды румяные.

– Есть у меня такая, есть.

– И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце пуд сена.

– Все так сделаю.

– И пусть он этот пуд сена съест.

– Кто это?

– Разумеется, он, сын ваш Игнатий.

Асессорша изумилась.

– Как же это так: разве, – говорит, – он у меня конь?

А отец Павел отвечал:

– Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел презренный.

Искусный ответчик

Секретарь, укоряемый во многом притяжании, имел слабость к устройению новых дач и домов и за продолжительное время своей службы обзавелся ими в таком числе, что от его недругов на это было сделано указание новоприбывшему начальнику. Начальник отвечал:

– Хорошо, я его испытаю, и если он меня не убедит, откуда ему все это мимо службы взялося, то тогда поступлю с ним, как надобно.

Самому же доносчику, да и всем при особе своей состоящим и приседящим строго наказал, чтобы ничего тому секретарю даже в самых отдаленных намеках подано не было, о чем ему готовился острый вопрос. И когда секретарь, ничего не зная о преднамеренном, в обычное время предстал докладывать просьбы и доклад свой кончил, вопрошен был:

– Правда ли, что вы посулы от просителей вымогаете и даже вымогательством к приношению вам денег нудите, а без того дел не рассматриваете?

Но секретарь, оком не моргнув, отвечал, что все это чистая клевета, и страшною клятвою именем Божиим поклялся.

– Хорошо, – возразил начальник, – но, во-первых, вам такие клятвы говорить непристойно, а во-вторых, я только тогда словам твоим поверю, когда вы мне объясните: откуда

вам взялось на вашем месте пять домов и шесть дач?

Секретарь же, слыша сие, отвечал, что все те дома и дачи и вся яже в них не ему, но жене его принадлежит.

– Но жена ваша всего этого в приданое вам не принесла, ибо известно мне, что она дочь людей бедных.

– Точно так, – отвечал секретарь.

– В таком разе, откуда же у нее взялись такие имущества?

– Не знаю, – отвечал секретарь.

– Как так – не знаете?

Секретарь изобразил собою большую сконфузливость и, пожав плечами, опять отвечал:

– Как вам угодно, а я этого и сам себе объяснить не могу.

– Ну, то могли же бы вы ее о том прямо спрашивать!

– И даже много раз спрашивал.

– И что же она вам на то отвечала?

– Ничего не отвечала.

– Как так *ничего*?!

– Так: я ее спрошу: «откуда ты, душко мое, деньги берешь?» А она только покраснеет, но ничего не скажет.

Начальник посмотрел на сего оборотливого секретаря и добавил:

– Однако ты, вижу, искусный ответчик.

После того секретарь остался на месте, и никто не мог доказать, что он не имеет источника.

Как нехорошо осуждать слабости

Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный, с молодости своей себя соблюдал в отменной трезвости и жил в самом примерном поведении; но имея уже близу шестидесяти семи лет, лишился жены и подпал другим несчастьям, из которых каждого в отдельности довольно было, чтобы весьма мужественную душу поколебать. Зять его повредился в уме, и дочь возвратилась под отчие кровы с немалою семьею, а сын предался дурным страстям и пошел в актеры. А еще всего более отцу Иоанну принес огорчения и ущерба тягостный лаж, который был объявлен от казны на серебро, через что в состоянии отца Ивана вдруг вышло понижение, так как он содержал все свое у себя в наличных бумажках. И тогда ото всего этого отец Иван стал искать забвения своего горя в вине, которого прежде во всю жизнь свою не пил. Поначалу это новоначатие крылось только в стенах дома, но потом, как беспрестанно беречь несчастного старика было некому, то и посторонним слабость его начала делаться заметною, и, наконец, был в храме неудобный случай, что он, сделав возглас, заснул и не скоро пробудился. Прихожане, весьма его любя, хотели это покрыть, но тщанием отца Иродиона, который себе благочиннического места желал, стало ведомо владыке. Владыка же был строг и не похотел оставить сего втуне, а, призвав

отца Ивана к себе, сказал, что для пользы его души, при его преклонных уже летах, от благочиннических обязанностей его освобождает и советует ему читать «Часы благоговения», а для пользы службы на место его назначил отца Иродиона.

Удар этот на отца Ивана самолюбие столь повлиял жестоко, что он, вместо того чтобы читать «Часы благоговения», еще больше стал неосторожен, а когда дочь ему в доме вина возбраняла, то стал заходить с заднего выхода в трактиры, и особенно часто приходил к одному из своих прихожан, трактирщику и с давних пор почтительному его духовному сыну. Этот трактирщик подавал ему своего домашнего приготовления графин на горькой трефоли, и отец Иван ее потреблял со вкусом, и говорил: «Эта горечь для меня отраду приносит, ибо она горечь жизни моей прообразует». Духовный же сын трактирщик священника оберегал от взоров публики и предлагал ему все не в трактирных, а в своих жилых комнатах, не в виде трактирного угощения, а как домашнее хлебосольство. И когда отец Иван был неисправен, он тут же у него на диване отдыхал, покрыв лицо платочком, а семейные из той комнаты даже канареек выносили, чтобы они своим трескучим пением его скоро не пробуждали. Так отдохнув, священник уходил без явного в его состоянии примечания. Но однажды, когда трактирщик и домашние его были по некоторому случаю в развлечении и канареек не вынесли, отец Иван ранее потребного времени пробудился и вышел колеблясь. Но, почитая себя еще сильным чтобы дойти до

дому, пошел далее, а когда пошел, то силы его ему изменили и старые ноги его по скользкой осенней грязи стали идти неверно, и он поскользнулся и упал за углом улицы и встать уже был не в состоянии.

По случаю же вышло так, что новый благочинный, отец Иродион, в это самое время с старым причетником Ильком из дома своих прихожан, совершив крещение младенца, возвращались и, увидя отца Ивана в его несчастном положении, злобно улыбнувшись, сказал:

– Какое недостойное зрелище! Смотри на это и будь готов отвечать, что ты видишь.

А причетник Илько, будучи доброго сердца и отцу Ивану по училищу еще товарищ, отвечал:

– Виноват, отец благочинный! я не знаю, что вы видите.

– Я вижу бесчинного срамника отвергшегося благодати своего сана.

– А я вижу горестного несчастливца и благодати в нем отвергать не дерзаю, ибо она неотъемлема, – отвечал Илько, и с сими словами поднял отца Ивана, поставил его к стене и сказал: – Благослови, отче!

Отец же Иван раскрыл глаза и благословил его, а потом, ослабев, лег паки; но Илько пошел к нему в дом и, позвав человека из домашних, отнесли его и прибрали.

Вскоре за сим отец Иван умер, благословив всех, а также и отца Иродиона, отвергавшего его от благодати, и добрые прихожане над могилою его долго служили панихиды, а Иро-

диона не любили.

Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений

Иеродиакон немолодых лет, но могучей плоти, первейший бас и в служении искусный, имел страсть к бильярдной игре и однажды в день пятничий на страстной неделе, отслуживши и почитая себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное удовлетворить свое влечение к бильярдной игре. Для того он пришел в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже позвал трактирного служителя, но служители, как один, так и другой, от игры отказались, сказав, что в такой день не могут. Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным стали играть не на подлаз под бильярд, а на деньги. Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не изволил.

Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на «подлаз», а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить – шпагу снять и под бильярдом лазить. Но дякон этого не хотел и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».

Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе продолжать игру до его отыграния и за всякую партию выпивать мазу по большой рюмке рому или вина. Диакон, желая свой выигрыш получить, на то согласился, и как он лучше

квартального играл, то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать, пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то, будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом весьма старое биллиардное сукно кием подпорол и испортил.

Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять, что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а диакон, и он за то сейчас сорок рублей заплатить должен, или если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, вспороно некоторым из служителей, от игры за страстным днем отказавшихся, то платить не захотел и, несколько излишне на могучность свою полагаясь, стал их плечами пожимать и сталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с азартом на него кинулись, и, после буйственного на него нападения, один, наибольшую военную хитростью одаренный, вскочил на биллиард и с высоты биллиарда набросил на фигуру диакона с головой пестрядинное покрывало, так что он очутился как подсвинок, которого мужик заключил в мешок

и, завязав, везет на базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все части и, нащупывая, где его глава, за власы его притягали, и платье на нем порвали, и, руки под пестрядину подсунув, часы с бисерною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей совсем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так его отдушили и обидели, как оного евангельского, шедшего по пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен, с покровенной головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали, еще мало показалось, а они или, лучше сказать, кварталный (ибо его это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы еще битый у небитых сам отпущенья просил и умолял о покрытии его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.

Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удовольнились и помышляли уже приступить к метанию между собою жребий о похищенном, кварталный был несyt причиненным и сказал: «Еще не прииде тому час, а призovите мне моих охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буйана, чтобы все видели, и довлеет ему, а там, в монастыре, его сдать на руки, и там ему его священноди-

аконство помянется и аксиос ему пропет будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино пил».

Услышав же это, диакон стал ротиться и клятися, что он у себя в келье в клобуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и все их отдаст, только чтобы по улице его яко связня не вели, а с свободою рук отпустили. И штатские хотели его с одним человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за двери вынес, но квартальный, исполняясь недоверия к пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его, и представим приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался». И, шед вон скоро, привел сюда с собою частного. Частный же, рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатом и штатских выслал, а диакону сказал:

– Восстав, идем отсюда, – и был ему за истинного самарянина: всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем скоте, а дорогою полезный совет дал:

«Ты, – говорит, – сознайся и факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей в келье в клобуке заделаны, не обнаружь, потому что они тебе самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот, кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю».

И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель, доложил на игумену, которому все рассказал и, быв с ним на-

едине, предложил тому на выбор: оглашению дело предать или дать ему триста рублей на потушение. Игумен же был весьма в правлении опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и выговаривал:

– Зачем ты в такое место попал?

– Ни для чего другого, как для биллиардной игры, – отвечал диакон.

– Но почему именно в такой великоскорбный день, когда никто не ходит?

А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все опасное для него за данными приставу поминками миновало, а голос его к служению нужен, робкость оставил и, осмелев, с досадою ответил:

– А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день, как ныне, мирянин идти не отважится.

Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почтена быть не может.

О безумии одного князя

В первые века христианства и в некоторые позднейшие годы до нынешнего полного порядка токмо лишь епископы были «мужьями единыя жены», прочие же клирики, как и священники, при случае вдовства не остерегались второбрачия и даже третицею посягали. Тем они избавлялись от соблазнов и подозрения, но притом уже были, как и все прочие, без особого уважения. Впоследствии же, когда христианство в нынешнее совершенное устройство пришло, которое уже никогда не пременится, то упомянутая поблажка в повторении брака замешалась только у лютеранских народов, как немцы, шведы и англичане, имеющие духовенство неполное и безблагодатное. В нашем же восточном исповедании, которое славно между всеми полнотою благодатных даров и имеет все чины духовные, то дабы его еще большею полностью исполнить, то избыточные правила и установления последующих времен для него еще поощрены возвышениями. Так великий епископский чин у нас совершенно обезбрачен, а священники и диаконы токмо единожды до посвящения их в брак вступать могут, и то не иначе как с девою, а не со вдовою. Вдова же, хоть бы как ни была честна, и добротолубива, и непорочна, но она уже недостойна иметь мужа, готовящегося к получению благодати священства от рукоположения епископа. А посему хотя таковое правило ко благо-

чину церкви есть весьма необходимое и полезное, но вдовы попов если молодые остаются, то они уже во второй раз за соответственного человека, готовящегося ко священству, никак выйти не могут, а если скукою одиночества или стесненностию жизненных обстоятельств побуждаются вторично искать опоры в браке, то могут токмо в своем духовном звании за дьячка или за пономаря, а в штатских за кого придется. Но это в таких только разгах бывает, если за духовной вдовою есть имение и если она сколько-нибудь для светской жизни образована в отношении разговора, танцев и прочего, что в светской жизни не так, как среди духовенства: иначе же всегдашнее вдовство становится для молодой попадьи ее неминуемою участию, которой ей и должно покориться. Но бывают и в этом безответном и добром сословии непонимающие, строптивные и непокорные, из коих об одной здесь предлагается случай.

Были два священника, оба учености академической и столь страстные любители играть в карты, что в городе даже имена их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого – «отец Преферанц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же одному из них, именно отцу Висту, совсем неожиданно умереть, и оставил он шестнадцатилетнюю дочь предприятнейшей наружности и с воспитаньем. А у отца Преферанца был сын богослов, которого лучше любили звать «бог ослов». Он учился в последних и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо был он безо

всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в жены ту преприятную красавицу, Вистову дочку. Так это все было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо. Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится, особливо же в ночное время или когда вспомнит о покойниках, к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме, и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разгах, постоянно был осторожен и с провожатыми, но однако, выйдя по одному случаю вечером на крыльцо, заторопился впотьмах и, вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса, попав головою на оскребальную скобку, и повредил темя. От этого он сразу всех последних

способностей и ума лишился, и целых два года всюду прятался, и только, голодом побуждаемый, мычал как теленочек, когда для того час его пошла настанет. На третий же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало, в ризах, и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас дано другому. Молодой же вдове сего несчастливца, которой было в ту пору всего только девятнадцать лет, осталось делать что хочет, без всякой помощи. Но у нее был крестный отец советник, и он так этого оставить не хотел, а приехал к архиерею и очень смело стал ему излагать некоторую известную ему тайну, что оставшаяся вдова робкого покойника должна иметь все права как девица и, выйдя вновь замуж, составить свое и мужнино благополучие: ибо долгое ее терпение с тем покойником одно превосходство ее сердца и характера показывает. Для этого он просил владыку возбудить ходатайство о дозволении ей удержать место за нею как за девицею; но владыка сказал: «Как подобное ранее не предусмотрено, то и не стоит, да не молва будет в людех». Этот любопытный случай, быть может и еще когда-либо возможный к повторению, однако не остался в совершенной сокровенности, и именно – прокрался в молву. Овдовевшая же, оставшись в горестной нужде и еще к тому же мать при себе имея, ни за дьячка, или мещанина, или однодворца чтобы выйти замуж ожидать не захотела, а пристала к хору поющих цыган, проезжавших тогда в Курск к перенесению иконы пресвятая владычицы Коренския, честного ее знамения. Цыгане же, за

приятный и чистый голос той женщины, приняли ее в свой табор и хорошо ее и ее мать содержали, но как молва о ней была известна, то она прозвалася от всех в хоре «*мадемуазель попадья*», и жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.